12+
ПРАВО
НА
ДЫМ
Н. ГУРИНА, А. РУДЕНКО
Дым — это не грязь. Дым — это память огня

Наталья Гурина

Право на Дым

«Издательские решения»

Гурина Н.

Право на Дым / Н. Гурина — «Издательские решения»,

Если ты много лет была фонарём — тебя ценят, пока ты светишь. Если внутри тебя камень вместо сердца — ты сажаешь голос и забываешь, как летать.Если ты прячешься в бане, потому что твой жар когда-то разрушил всё вокруг, — ты веришь, что ты монстр.Эта книга о встрече двоих, которые нашли друг в друге Кузницу. О том, как чёрный дым становится теплом, а старые шрамы — опорой для нового мира.Сказка о праве. О праве быть тяжёлым. О праве дымить. О праве на свою, неудобную, настоящую жизнь.

© Гурина Н.
© Издательские решения

Содержание

ПРОЛОГ 6
ГЛАВА 1. ФОНАРЬ НАД РЫНКОМ 8
ГЛАВА 2. СЛУХИ 17
ГЛАВА 3. ПОЧТИ 21
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Право на Дым

Наталья Гурина
Анна Руденко

© Наталья Гурина, 2026
© Анна Руденко, 2026

ISBN 978-5-0071-0280-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

Она попыталась зажечься для лисёнка.

Из клюва вырвался лишь удушливый дым. Чёрный, маслянистый, он повис в морозном воздухе забытым обещанием и пах горечью: старой золой, плавленой медью. Лисёнок чихнул, потёр нос лапой и посмотрел с тем особенным выражением, какое бывает у зверей, когда они ждут чуда, а получают гарь.

Когда-то — очень давно, словно в другой жизни, — Жар-Птица умела греть. Не светить — именно греть. Стоило расправить крылья, и по лесу расходилось спокойное тепло. Просыпалась трава, звери выходили из нор и устраивались у корней деревьев. Свет им был ни к чему. Нужно было тепло.

Теперь его не осталось.

Она долго собиралась с силами. Закрыла глаза и потянулась внутрь себя — туда, где когда-то билось горячее птичье сердце.

На его месте лежал холодный камень.

Тяжёлый. Неподвижный.

Жар-Птица прижалась к нему, словно надеясь хоть немного отогреть. Всё исчезало без следа, впитывалось, как вода в сухой песок. Где-то в самой глубине ещё жила крошечная искра. Но стоило потянуться к ней — между ними вставал камень.

Дым вырвался раньше.

Чёрный. Маслянистый. Густой.

Лисёнок зажмурился, замотал головой, снова чихнул и не убежал. Лишь перебрался на соседний сугроб, подальше от дыма, но не от неё.

— Ты же праздник, — прошептал лес.

Укора не было. Только память. Лес вообще редко укорял — он помнил.

Помнил, как после каждого взмаха крыльев золотели верхушки сосен. Как молодые папоротники тянулись навстречу теплу. Как старые ели переставали скрипеть, едва Жар-Птица пролетала мимо.

Теперь они снова скрипели. Громче прежнего.

— Я устала быть праздником, — ответила она дыму.

Тот промолчал. Вообще он был немногословен. Просто висел в морозном воздухе. И в этом молчании понимания оказалось больше, чем во всех словах, услышанных за последние годы.

Жар-Птица сидела на почерневшей ветке старой сосны и почти не дышала. Где-то в кроне осыпался снег. Шорох. Тишина. Снова шорох.

Перья, когда-то сотканные из самого солнца, потускнели. Тускло-медные, с облезлыми серыми кончиками, слипшимися от вековой сажи.

Страшно было даже пошевелиться. Любое движение могло потревожить дым, и тогда лисёнок снова закашляет, а следом вернётся старый, до боли знакомый стыд.

Сажа копилась годами. Столетиями. Как в дымоходе, который никто не чистил.

Каждый раз, когда её называли праздником. Каждый раз, когда благодарили за свет.

Благодарили не её — свет.

За грудиной лежал холодный камень. Когда он появился? Жар-Птица уже не помнила. Может быть, в тот день, когда сгорела поляна. А может, позже — когда решила больше никогда не злиться.

Камень рос медленно. Год за годом. Пока не занял всю грудь.

Каждый раз, когда хотелось сделать что-то настоящее, из клюва вырывался только дым. Чёрный. Густой. Он поднимался к горлу даже раньше слов — и они гасли, не родившись.

Лисёнок всё ещё ждал под деревом. Не тепла — или не только тепла. Может быть, просто компании. Молодые редко различают эти вещи.

— Ты глупый, — тихо сказала Жар-Птица. — Я не могу тебя согреть. Даже себя не могу.

Лисёнок приоткрыл один глаз, посмотрел на неё и снова устроил морду на хвосте. Кажется, это ничего не меняло. Есть существа, которым не требуется чудо. Им достаточно, чтобы кто-то остался рядом.

Жар-Птица отвела взгляд. Крылья сами собой прикрыли грудь, перья тихо скрипнули, а из клюва по-прежнему тянулась тонкая дрожащая струйка дыма. Хотелось сказать что-то важное — себе, лесу, холодному небу, — но… слова так и не смогли пройти сквозь камень, застряв где-то между грудью и горлом.

Глупый лисёнок. Та, что должна была приносить свет и тепло, сидела на ветке, словно обугленная головешка, и не могла высечь даже искры.

Глубоко под землёй, среди корней Мирового Древа, что-то едва заметно дрогнуло. Не кашель и не стон — скорее тихий, почти неразличимый всхлип, будто тот, кто спал очень долго, тревожно шевельнулся во сне.

Жар-Птица ничего не услышала. Уже много лет до неё не доходило ничего, кроме собственного дыма.

Зато лес услышал.

И запомнил.

ГЛАВА 1. ФОНАРЬ НАД РЫНКОМ

Рынок никогда не спал. Он просто притворялся.

Когда багровый свет светлячков в стеклянных колбах начинал тускнеть, а Угодные прекращали свою бесконечную работу и замирали у прилавков, Рынок не засыпал — он лишь переводил дыхание. Чёрная вода, окружавшая Рынок, становилась неподвижной, словно зеркало, забывшее, что оно должно что-то отражать. Воздух, днём густой от запахов нафталина, кислых яблок и старой бумаги, становился почти прозрачным. Почти честным.

В такие часы Жар-Птица оставалась одна.

Она пряталась под самым сводом, среди старых почерневших балок, куда не добирался свет фонарей. Она давно казалась частью этого места, как будто Рынок когда-то построили вокруг неё и просто забыли. Длинный хвост из пяти перьев свешивался с балки почти до самой воды, и на концах каждого пера когда-то горели золотые глазки.

Когда-то.

Крылья, сложенные вокруг тела, напоминали старый плащ. Когда-то они были сотканы из чистого солнечного света — того самого дикого пламени, которым можно зажечь рассвет над лесом, расплавить камень, заставить снег отступить. Теперь золото сохранилось лишь на кончиках маховых перьев, а ближе к телу оперение стало тускло-медным, с серыми облезлыми краями. Глаза — два бледно-жёлтых круга, похожих на старое золото, которое давно забыли начистить. Клюв потемнел до цвета старой бронзы. Когти оставались длинными, но были сточены о камень: Жар-Птица часто царапала балку, когда нервничала.

А нервничала она почти всегда.

От неё пахло нагретым металлом, пылью и едва уловимой гарью. Той самой, которую она старалась не замечать.

Она не помнила, когда спала в последний раз. Иногда удавалось задремать прямо на балке, свернувшись среди перьев, но сон был поверхностным, как тонкий лёд над тёмной водой: чуть надавишь — и провалишься туда, куда не хочется смотреть. Настоящий сон требовал одного — отпустить. Жар-Птица разучилась отпускать. Слишком долго держала себя в узде.

Иногда она ловила себя на странном ощущении: будто она здесь — и не здесь. Свод Рынка, балки, фонари. Всё знакомое. Всё чужое.

Она знала каждый скрип. Каждый поворот. Каждый прилавок. Знала, когда вода меняет запах. Знала, когда светлячок в колбе начинает умирать.

И всё это — как будто не с ней. Как будто она смотрит на чью-то чужую жизнь. И не может отвести взгляд.

Свет был. Его замечали. Его хвалили.

Её — нет.

Но зачем всё это было нужно именно ей, Жар-Птица уже не помнила. Может быть, никогда и не знала.

Она перепроверяла всё. Каждое движение. Каждую мысль.

Расправила крыло — и замерла. «Правильно ли? Не слишком ли ярко? Не слишком ли тускло?»

Она не помнила, когда это началось. Может, в тот день, когда сгорела поляна. Может, позже — когда поняла, что её гнев разрушает. С тех пор каждое действие требовало подтверждения. Не от других — от себя. «Я могу это сделать? Это безопасно? Это никому не навредит?»

Ответа не было. Она делала — и замирала. И перепроверяла снова.

Триста сорок семь лет.

Иногда, очень редко, она вспоминала. Не себя — что-то другое. Запах нагретой солнцем коры. Вкус утреннего тумана. То, как ветер играл с перьями, когда она летела высоко-высоко — не для кого-то, просто так.

Она любила летать. Не светить — лететь. Взмах — и мир внизу становился маленьким. Взмах — и горизонт отступал. Взмах — и она была не фонарём, а птицей.

Когда она вспоминала это, камень в груди на секунду теплел. И она не знала, хорошо это или больно.

На той же балке темнело её гнездо — если такое место вообще можно было назвать гнездом. Несколько сухих веток, обрывки бересты, перья, выпавшие за долгие годы. Среди них ещё сохранились несколько золотых — старых, почти забытых. Она не помнила, когда свила его. На Рынке время вело себя странно: оно не двигалось вперёд, а оседало, как пыль на прилавках, как следы чужих рук на старых вещах.

Сам Рынок не был площадью. Он был лабиринтом.

Каменные прилавки, соединённые узкими мостками из почерневших досок, уходили во все стороны и растворялись в багровом полумраке. Где-то там, за границей прилавков, медленно текла чёрная вода — она не отражала ни света фонарей, ни лиц, ни неба, которого здесь никогда не было. Стеклянные колбы со светлячками висели на кривых шестах через каждые десять шагов. Одни сияли ярко, другие едва теплились, третьи давно погасли, но никто не спешил их менять.

Над всем этим нависал свод из старых балок и висела Жар-Птица. Единственный золотой источник света в мире, который забыл, что такое солнце.

Утром Рынок пах пылью и старым деревом. Днём — нагретым камнем, кислыми яблоками, нафталином. К вечеру запахи смешивались в один — тяжёлый, сладковатый, как дыхание спящего зверя. Ночью пахло только водой. Холодной. Чёрной. Неподвижной.

Звуки тоже менялись. Утром — скрип балок, шорох Угодных, звон баночек. Днём — гул голосов, смех, плач, торг. Вечером — тишина, но не пустая. Наполненная. Как будто Рынок слушал и ждал чего-то.

С высоты Птица чувствовала всё это — не глазами, не ушами. Телом. Как дрожь от шагов по мосткам. Как холод от воды.

Свет загорался не сразу.

Сначала приходил холод. Тот особенный, предрассветный холод Рынка, когда чёрная вода между прилавками становилась почти белой от тонкой корочки льда, а Угодные ещё не начинали свою вечную работу, а стояли, замерев, похожие на обломки статуй, забытых в тёмном храме. Потом холод сменялся ожиданием. Ожидание имело вкус — металлический, как старая монета, которую слишком долго держали в руках. И только потом, медленно, неохотно, Жар-Птица начинала светиться.

Это не был рывок. Не было вспышки, как в прежние времена, когда она расправляла крылья над лесом и зажигала рассвет. Здесь, под сводом Рынка, свет был другим. Дозированным. Контролируемым. Как масло в лампе, которое подливают по капле.

Она открывала глаза.

Золотое сияние расходилось от её перьев медленно, слоями — сначала самый бледный, почти белый отсвет, потом гуще, теплее, пока весь свод не наполнялся ровным, уютным сиянием, за которое её ценили. Ради которого держали.

Внизу начинали шевелиться Угодные. Один — тот, что всегда протирал прилавок сухой тряпочкой, — поднял голову и посмотрел на неё. Сквозь его почти прозрачное тело просвечивали камни. На месте лица было размытое пятно, но ей показалось — или она хотела, чтобы показалось, — что он чуть кивнул. Привычка. Рефлекс. Или что-то ещё, что осталось от того, прежнего, кто когда-то подписал контракт.

— Доброе утро, — прошептала она.

Угодный не ответил. Он никогда не отвечал. Просто начал протирать прилавок.

Первые посетители появились, когда светлячки в колбах ещё не разгорелись в полную силу. Двое — молодая женщина в плаще, пахнущем сыростью и дорогой, и мужчина с пустым мешком за плечами. Они не были вместе. Просто пришли одновременно, как приходят на рынок те, кто не договаривался, но подчиняется общему ритму.

Женщина остановилась у прилавка Сороконожки. Та ещё спала, свернувшись под грудой баночек, и женщина не стала её будить. Просто стояла и смотрела на этикетки. «Мамины руки». «Тёплый вечер». «Уют».

Жар-Птица смотрела на неё сверху. Женщина была молодой, но что-то в её лице уже сломалось — не до конца, а так, как ломается ветка, которую придавили снегом, но не оторвали. Она перебирала баночки дрожащими пальцами, и Птица вдруг поняла: она не купит. Не сегодня. Сегодня она просто смотрит. Прикидывает, сколько памяти можно обменять на «Уют» и хватит ли оставшегося, чтобы дожить до весны.

— Бери «Печку», — хотела сказать Птица. — «Уют» быстро выветривается. А «Печка» греет даже когда кончается.

Но она не сказала. Она была фонарём. Фонари не дают советов. Фонари просто светят.

Мужчина подошёл к прилавку Затворника. Тот уже сидел на своём месте — старый, сухой, с руками, которые перебирали свистульки так, будто каждая была живой. Мужчина долго смотрел на товар. Потом взял деревянную ложку с обломанной ручкой.

— Сколько?

— Не продаётся.

— Почему?

— Ждёт.

— Кого?

Затворник поднял на него глаза — тусклые, выцветшие, как старая фотография, которую слишком долго держали на солнце.

— Не тебя.

Мужчина положил ложку. Постоял ещё минуту. Ушёл.

Жар-Птица проводила его взглядом. Она тоже хотела спросить — кого ждёт ложка? Но не спросила. Она знала: Затворник отвечает только на те вопросы, которые заданы вовремя. А она так долго молчала, что теперь не знала, как начать.

К полудню Рынок ожил. Пришла старуха с клюкой — искала «Бабушкины сказки». Сороконожка уже проснулась и суетилась вокруг неё, предлагая то одно, то другое. Старуха долго нюхала баночки, морщилась, качала головой. Потом взяла «Запах ржаного хлеба» — и вдруг заплакала. Скупо, скудно, одними глазами.

— Это оно, — сказала она. — Мама пекла такой. В детстве.

Сороконожка замерла. Во все глаза смотрела на старуху, и Жар-Птица видела — или ей опять казалось? — что одна из привычных масок, та, что была чуть менее уверенной, дрогнула.

— Берите, — сказала Сороконожка. — Берите так. За просто.

— Нельзя за просто, — старуха вытерла глаза. — За просто не бывает.

— У меня бывает. — Сороконожка уже отворачивалась, делая вид, что пересчитывает баночки. — У меня сегодня благотворительный день. Или не день. Час. Или сколько там до вечера. Берите. Идите. А то передумаю.

Старуха ушла, прижимая баночку к груди. Жар-Птица смотрела ей вслед и чувствовала, как что-то внутри — не камень, а то, что было под ним, — сжимается. Она тоже хотела бы так. Отдать что-то просто так. Не в обмен на свет или благодарность. Просто отдать.

Но у неё был только свет. И его она уже отдавала.

Вечером, когда последний посетитель ушёл, а Угодные замерли на своих местах, Жар-Птица начала тускнеть. Это тоже был ритуал — медленный, осторожный, как укладывание

больного в постель. Она гасила свет не сразу, а слоями: сначала убирала золото с дальних углов, потом с прилавков, потом с воды. Последним гас свет в её собственных перьях — и когда он угасал, она становилась почти чёрной.

Почти невидимой.

Почти собой.

В такие минуты она чувствовала странное облегчение. Как будто свет был одеждой, которую она носила весь день, и теперь наконец могла снять. Но облегчение быстро сменялось другим чувством — тем, которому она не знала названия. Как будто без света она исчезала. Переставала быть нужной. Переставала быть.

— Ты ещё здесь? — спросила снизу Сороконожка.

— Здесь.

— А то я уж думала — всё. Улетела.

— Куда мне лететь.

Сороконожка хмыкнула. Загремела баночками.

— Вот и я говорю. Куда нам лететь. У нас тут всё. Работа. Прилавки. Светлячки. Чёрная вода. Чего ещё надо?

Жар-Птица не ответила. Она смотрела в темноту под сводом и думала: «Чего ещё надо?»

И ответ не приходил.

Внизу, между прилавками, Угодные пели. Без лиц. Без выражения. Без усталости. Слов было не разобрать — только ритм, похожий на скрежет ложки по дну пустой миски. Но одна строка вдруг прорезалась особенно ясно, будто спели над самым ухом: «Ты думаешь, ты покупатель, а сам лежишь на весах».

Жар-Птица вздрогнула.

Песня продолжилась, но эта фраза осталась внутри, как заноза. Она не понимала, почему зацепилась именно она. Может быть, потому что много лет висела над Рынком и никогда не спускалась к прилавкам. Может быть, потому что задумалась: а на какой стороне находится сама?

Днём она светила.

Это был не тот свет, которым когда-то можно было зажечь рассвет над лесом. Не дикое пламя, способное расплавить камень и заставить снег отступить. Рынку нужен был другой свет. Удобный. Ровный. Предсказуемый. Золотистое сияние, которое делало каменные стены уютнее, а чёрную воду — не такой пугающей.

Путники, забредавшие под своды, поднимали головы, щурились и улыбались. Им казалось, что здесь их ждали. Что здесь безопасно. Что можно задержаться.

Они не знали, что свет — это работа. И что тот, кто светит, не всегда хочет светить.

— Ты сегодня тусклая.

Голос снизу был скрипучим, как несмазанная петля. Жар-Птица даже не открыла глаз. Она знала этот голос. Сороконожка всегда начинала разговор с замечания — для неё это было примерно то же самое, что у других существ сказать «здравствуй».

— Я всегда тусклая, — ответила Жар-Птица. — Это часть образа.

— Врёшь.

Снизу раздалось знакомое шуршание, и из-под прилавка появилась Сороконожка. Сорок ног. Сорок баночек. И, вероятно, сорок мнений о происходящем. Каждая пара ног держала что-нибудь своё — она умудрялась пересчитывать товар даже во время разговора и искренне считала это признаком организованности.

— Раньше ты сияла так, что у меня чешуя сворачивалась, — сказала она. — Я специально отползала подальше, когда ты зажигалась. А теперь…

Она подняла одну из баночек. На этикетке значилось: «Тёплый вечер». Стекло было мутным, но сквозь него ещё можно было разглядеть багровые огни фонарей.

— Теперь ты как коптилка. Еле теплишься. У меня покупатели спрашивают: «Где тот золотой свет? Раньше тут было красиво». А я что им отвечаю? «У лампы плохое настроение». А они мне: «Нам какое дело до настроения лампы?» И ведь, знаешь, в чём ужас? Они даже не неправы.

Жар-Птица открыла глаза.

Сороконожка стояла внизу, окружённая своими баночками и привычной суетой. Одна из её улыбок была чуть менее уверенной, чем остальные. Жар-Птица знала эту улыбку — та появлялась, когда Сороконожка волновалась. Но Сороконожка никогда бы этого не признала. Она была соткана из пыли, паутины и старых квитанций — тех самых, которые годами лежат в ящике стола, потому что выбросить жалко, а зачем они нужны, уже никто не помнит. И всё же в ней было что-то удивительно живое.

— Я устала, — сказала Жар-Птица.

— Устала, — повторила Сороконожка, переставляя баночки. — А кто не устал?

Одна баночка едва не упала. Сороконожка поймала её одной ногой, другой поправила крышку, третьей вытерла пыль.

— Вон Угодные. Посмотри на них. Ходят без лиц. Работают. Не жалуются. А ты с лицом — и жалуешься. Где справедливость?

Жар-Птица перевела взгляд на Угодного, который протирал прилавок тряпочкой. Тряпочка была сухой и не оставляла следов. Угодный был почти прозрачным — сквозь него просвечивали камни прилавка. На месте лица — размытое пятно, как на мокрой бумаге. Когда-то он был Хранителем. У него был дом. У него была печь. А теперь он здесь — и он счастлив. Потому что больше не чувствует холода. Потому что у него есть работа.

Жар-Птица смотрела на него и не могла отвести взгляд. Она видела его каждый день. Каждый день он протирал прилавок одной и той же тряпочкой. Каждый день был счастлив. И вдруг — впервые, может быть, за всё время — она подумала: а что, если он не счастлив? Что, если он просто не помнит, что можно иначе?

«Как я. Я тоже не помню. Совсем. Вообще. Что было до Рынка — пусто. Только свет. Только балка. Только дым».

Она посмотрела на Угодного. Он тёр прилавок. Тёр. Тёр.

«Он не помнит. Я не помню. Мы все не помним. Кроме…»

Она не закончила мысль. Но что-то внутри дрогнуло.

Достаточно просто подписать контракт.

— Я не жалуюсь, — сказала Жар-Птица. — Я просто…

— Светишь, — закончила Сороконожка. — Знаю. Все мы здесь что-то делаем. Я торгую памятью. Затворник продаёт старые вещи. Угодные обслуживают. А ты светишь. Это твоя работа.

Она уже отползала к следующему прилавку — там мялся молодой дух с мутными глазами, искавший что-то под названием «Уют». Сороконожка засуетилась, перебирая баночки, и её сорок вариантов улыбок стали ещё шире.

Среди товаров, в самом углу прилавка, лежала старая красная лента — выцветшая, но ещё крепкая. Сороконожка не помнила, откуда она взялась. Кажется, её принёс какой-то путник — хотел обменять на «Тёплый вечер», но передумал и ушёл. А ленту забыл на прилавке.

Жар-Птица осталась одна.

Она посмотрела вниз, на чёрную воду. Та не отражала неба — здесь вообще не было неба. Только свод из каменных балок и багровый свет. В воде дрожало золотое пятно — её отражение. Красивое. Безупречное. Мёртвое.

Она смотрела на отражение. Потом закрыла глаза.

«А если перестать?»

Мысль была короткой — и страшной.

«Перестать — и что?»

Она не знала. Знала только: без света её здесь не будет. Не выгонят — просто перестанут замечать. Повесят другой фонарь. Зажгут. И всё.

От этой мысли внутри становилось холодно. Не снаружи — снаружи было тепло, даже жарко от багровых фонарей. Холод шёл изнутри. От камня.

Она закрыла глаза и попыталась вспомнить, когда в последний раз чувствовала тепло — не чужое, не заёмное, не купленное в баночке у Сороконожки. Своё собственное. То, что рождается где-то глубоко внутри, за грудиной, разливается по телу и не требует ничего взамен.

Не вспомнила.

День на Рынке тянулся медленно. Жар-Птица светила. Угодные носили подносы. Сороконожка торговала. Затворник перебирал свои сокровища — глиняные свистульки, деревянные ложки, берестяные шкатулки — и молчал. Он вообще был немногословен. Может быть, потому что слова, как и вещи, со временем теряют ценность. Может быть, потому что за долгие годы он сказал всё, что хотел, и теперь просто слушал.

К вечеру на Рынок забрёл путник.

Он был из тех, кто ещё не решил, покупать или просто смотреть. Высокий, сутулый, с пустым мешком за плечами и взглядом, который метался между прилавками, не зная, на чём остановиться. Жар-Птица видела таких сотни. Обычно она просто светила. Молча.

Но этот пах лесом — сырой корой, мхом, снегом. Не тем искусственным запахом хвои, который Сороконожка разливала по баночкам, а настоящим. Жар-Птица втянула воздух, и где-то глубоко внутри что-то шевельнулось. Давно забытое. Почти болезненное. Она вспомнила, как сама пахла когда-то: не нагретым металлом и пылью, а хвоей, ветром, дымом от костра, у которого грелась после долгого полёта. Настоящим дымом — не тем, что она носила в груди.

Путник остановился у прилавка Сороконожки. Та засуетилась, загремела баночками. Жар-Птица не слушала — она всё ещё была там, в прошлом, где пахло хвоей. Но сквозь шелест стекла прорвалось слово.

Баня.

Она моргнула. Слово было чужим, не из рыночных. От него пахло деревом и дымом — тем самым, из воспоминания.

— …дух там завёлся, — трещала Сороконожка. — Косматый, огромный. Нечистый. Прячется от всех. Никого не пускает.

Прячется от всех.

Когти Жар-Птицы сжались на балке сами собой. Она не заметила. Что-то в этих словах царапнуло — не снаружи, внутри. Как будто кто-то провёл когтем по камню в груди.

— А чего его бояться? — донеслось снизу. Голос путника, спокойный, чуть усталый. — Он же прячется. Ему самому, поди, страшно.

Ему самому страшно.

Под камнем что-то дрогнуло. Не мысль. Ощущение — как будто в темноте кто-то шевельнулся. Жар-Птица замерла, боясь спугнуть. Боясь, что это пройдёт.

Снизу доносились голоса — Сороконожка что-то спрашивала про трубу, путник отвечал, — но Жар-Птица уже не различала слов. В груди, под холодным камнем, что-то было. Не тепло. Нет. Скорее — намёк на него. Как будто где-то далеко зажгли спичку, и она ещё не погасла.

Она вытянула шею. Путник уже отходил от прилавка. Сейчас уйдёт. Сейчас исчезнет — и с ним исчезнет это.

— Эй.

Голос прозвучал сам. Она даже не поняла, что открыла клюв.

Путник остановился. Поднял голову — на лице отразилось удивление: он явно не ожидал, что фонарь над Рынком умеет говорить. Потом лёгкий испуг. Потом любопытство.

— Ты видел его? — спросила Жар-Птица. Слова были чужими, неудобными во рту. — Того духа. Из бани.

— Нет. Говорю же — прячется. А тебе зачем?

Она не ответила. Смотрела на путника, но видела не его — мохнатую фигуру в темноте. Косматого, огромного. Того, кому тоже страшно.

— Просто так, — сказала она. — Спасибо.

Путник пожал плечами и пошёл дальше, к прилавку Затворника. Жар-Птица осталась на балке.

Что-то треснуло. Не снаружи — внутри. Как будто она сидела в яйце много лет и вдруг услышала звук. Не громкий. Просто… другой. Там, снаружи, что-то было: не багровый полумрак, не чёрная вода, не скрежет ложки по дну пустой миски.

Она представила его — огромного, мохнатого, сидящего в темноте. Он тоже прячется. Он тоже боится. Он тоже один.

Он — в темноте. А я — в свете.

Мысль пришла и осталась. Жар-Птица не двигалась. Где-то с краю плескалась чёрная вода.

Ночью она спустилась с балки.

Днём Рынок притворялся уютным. Ночью, он оказался просто местом без неба. Холод камня под лапами был другим — не рыночным, а настоящим, живым, грубым.

Она прошла мимо прилавка Сороконожки. Баночки стояли ровными рядами, этикетки белели в полутьме: «Тёплый вечер», «Бабушкины сказки», «Печка. Берёзовые дрова». Жар-Птица провела крылом по этикеткам — и отдёрнула. Не её. Всё это было не её. Чьи-то чужие воспоминания, чужая жизнь, аккуратно разлитая по баночкам.

У прилавка Затворника она остановилась. Старик не спал — он вообще редко спал. Сидел, сгорбившись, и перебирал свои сокровища. В руках у него была маленькая глиняная свистулька — кривая, с одним крылом толще другого. Он гладил её пальцем, как гладят старую кошку.

— Не спится? — спросил он, не поднимая головы.

— Не сплю.

Затворник кивнул.

— Ты когда-нибудь думал о том, чтобы уйти? — спросила Жар-Птица.

Он усмехнулся — сухо, коротко. Усмешка была похожа на треск старого дерева.

— Каждый день. — Он поднял на неё глаза — тусклые, выцветшие, как старая фотография. — Но мне некуда.

Ночь была старая. Так говорил сам Затворник — «ночь старая», — и в это выражение он вкладывал какое-то особое знание, какого не было у других. Может, потому что он сам был старым. Может, потому что старые вещи, которые он перебирал бессонными ночами, рассказывали ему то, чего не знали живые.

В этот час он часто сидел за прилавком и держал в руках глиняную свистульку. Пальцы его, сухие и узловатые, гладили неровный бок, и в этом движении было столько нежности, что Жар-Птица замерла, не решаясь подойти ближе.

— Садись.

Она села. Рядом с ним, на холодный камень прилавка. Раньше она никогда не садилась так близко к кому-то из рыночных. Она вообще ни к кому не садилась близко. Свет не должен быть близким. Свет должен быть над.

— Ты спрашивала про уход. — Затворник отложил свистульку и взял другую вещицу — берестяную шкатулку с выцветшим узором. — Я тебе тогда сказал: некуда. А ты не спросила — почему.

— Не спросила, — согласилась она.

— Потому что вежливая. Вежливые не спрашивают. — Он хмыкнул. — А зря. Иногда нужно спросить. Даже если боишься ответа.

Он открыл шкатулку. Внутри лежала горсть земли — сухой, серой, рассыпчатой. Пахло от неё не так, как пахнет земля на Рынке — искусственной прелью из баночек «Лес после дождя». Настоящей. Старой. Мёртвой.

— Это мой дом, — сказал Затворник. — Точнее — то, что от него осталось. Я не всегда тут сидел, за прилавком. У меня была изба. На краю леса. Хорошая изба. Тёплая. С печью, которая не дымила. С окнами, которые смотрели на закат.

Жар-Птица молчала. Она знала: если перебить сейчас — он замолчит. Может быть, навсегда.

— Я был Хранителем, — продолжал он. — Как и все мы. У каждого было что-то своё. У тебя — огонь. У Банника — пар. У меня — вещи. Старые вещи, которые помнили тех, кто ими владел. Ложки, из которых ели. Свистульки, в которые свистели. Шкатулки, в которые прятали письма. Я хранил их. Я знал каждую. Я мог рассказать, чьи руки держали эту ложку и что варили в том горшке, от которого осталось только дно. Это была моя работа. И я любил её.

Он закрыл шкатулку.

— А потом пришли люди. Не злые. Просто люди. Они сказали: «Тут будет дорога. Изба мешает». Я сказал: «Тут мои вещи. Они не могут уйти». Они сказали: «Вещи — это просто вещи. Мы дадим тебе новые». Я сказал: «Новые не помнят». Они сказали: «Память — это тоже вещь. Её можно перенести».

Он замолчал. Пальцы снова нашли свистульку. Сжали её — бережно, но крепко.

— Я поверил. Я подумал: может, и правда можно перенести? Может, вещи — это только дерево и глина, а память — она отдельно? Я перенёс их. Все. От первой ложки до последней свистульки. А потом понял: память не переносится. Она остаётся там, где вещь лежала. Где её касались руки. Где на неё падал свет из окна. И когда изба сгорела — а она сгорела, и дорогу так и не построили, — я остался здесь. С вещами, которые помнили дом, которого больше нет. И понял: мне некуда идти. Потому что дом — это не место. Дом — это когда вещь лежит на своём месте. А здесь — всё чужое.

Он поднял на неё глаза.

— Ты спрашивала — почему я не ухожу. Вот поэтому. Я не могу уйти. Я могу только сидеть и перебирать вещи. Потому что пока я их перебираю — они помнят. А если перестану — они забудут. И тогда дом умрёт окончательно.

Жар-Птица долго молчала. Потом сказала:

— Ты поэтому не продаёшь ложку?

— Да. Она ждёт.

— Кого?

— Того, кто помнит. Не меня. Не этот Рынок. Того, кто помнит, как пахло в той избе. Как скрипела половица у порога. Как падал свет из окна на закате. Если такой человек придёт — я отдам её. Просто так. Без обмена. Потому что память нельзя обменять. Её можно только передать.

Он отложил свистульку и взял ложку с обломанной ручкой. Провёл пальцем по излому.

— Эту ложку сломал мальчик. Он спешил — хотел помешать кашу и ударил слишком сильно. Она треснула. Он плакал. А бабушка его обняла и сказала: «Не плачь. Ложка — она как человек. Если треснула, но не сломалась — значит, ещё послужит». И она служила. Ещё двадцать лет. Пока не пришли люди и не сказали: «Тут будет дорога».

Он замолчал. Жар-Птица смотрела на ложку и думала: вот что он хранит. Не дерево. Не глину. Голос бабушки. Слёзы мальчика. Закат в окне. Всё то, что она сама забыла.

— Я вернусь, — сказала она вдруг. — Когда найду то, что ищу. Я вернусь и расскажу тебе.

— О чём?

— О том, есть ли дом за пределами Рынка. И можно ли его найти. Или построить.

Затворник долго смотрел на неё. Потом кивнул.

— Расскажи. Я буду ждать. У меня времени много. — Он чуть усмехнулся. — У меня его больше, чем вещей. А вещей у меня много.

Она встала. Пора было идти. Но у самого выхода она обернулась.

— Как звали мальчика?

— Егором. А бабушку — Анной. Я помню все имена. Я для того и сижу тут.

Он замолчал. Повертел ложку в пальцах — медленно, будто пробуя её вес.

— Вот поэтому мне и некуда, — сказал он. — А тебе, кажется, есть.

Она не ответила. Затворник опустил глаза к свистульке. Разговор был окончен. Она постояла ещё минуту и пошла.

У шатра Лесничего остановилась. Белый полог мягко светился в темноте — единственное место на Рынке, где свет был не багровым, а золотистым. Почти как её собственный. Изнутри пахло сухим деревом — так пахнут новые избы, которые только что срубили и ещё не заселили. Тепло. Порядок. Никто не кричит, никто не торгует. Слышно только, как внутри мерно тикает что-то — может, часы, может, просто капли.

Жар-Птица подумала: а можно ведь остаться. Зайти. Попроситься. Здесь нужно только светить. Здесь всё уже устроено.

И следом — мысль о бане. Тот дух, который прячется, — он топит свою баню? Или сидит в темноте и холоде, как она сидит на балке?

Она постояла минуту. Потом развернулась и пошла обратно. Ещё не время. Ещё страшно.

Но мысль, однажды проснувшаяся, уже не засыпала.

Жар-Птица забралась на своё место, сложила крылья и закрыла глаза. Сон не шёл. Она лежала и слушала, как внизу, под сводом, тихо плещется чёрная вода. Ритм был ровным, успокаивающим. И где-то в этом ритме снова послышалась та самая строка: «Ты думаешь, ты покупатель, а сам лежишь на весах».

Жар-Птица подняла голову и посмотрела туда, где свод Рынка уходил в темноту. Там был выход. Она никогда не смотрела в ту сторону.

Сейчас — посмотрела.

И не отвела взгляд до самого рассвета.

ГЛАВА 2. СЛУХИ

Лесничий никогда не приходил просто так.

У него была привычка появляться именно в тот момент, когда ты меньше всего готов к разговору. Не потому что он подслушивал или следил — просто у него был нюх на беспокойство. Как у старого лекаря, который чует болезнь раньше, чем пациент успевает пожаловаться.

Жар-Птица сидела на своей балке и пыталась дремать. Дремота была единственным доступным ей способом отдохнуть — не спать, а именно дремать, оставаясь вполоборота к реальности. Во сне она иногда видела лес. Не этот — искусственный, рыночный, — а настоящий. Тот, где сосны скрипят на ветру, где снег падает с веток тяжёлыми белыми хлопьями, где мох растёт не потому что его посадили, а потому что ему так захотелось. Во сне она летала над этим лесом, и её перья оставляли в воздухе не золотую пыль, а чёрный, густой дым. Тяжёлый, маслянистый — он стелился за ней, как шлейф. И ей было не стыдно.

Сны были единственным местом, где она могла дымить свободно. Где дым не душил её, а просто был — как дыхание, как ветер, как снег. Она просыпалась после таких снов с чувством странной лёгкости — как будто за ночь из неё выходило что-то, что она копила весь день. Но лёгкость быстро проходила. Камень в груди оставался.

Она как раз досматривала очередной такой сон — про замёрзший ручей и следы на снегу, — когда почувствовала запах. Сухое дерево. Свежая стружка. Камфора и старые книги.

Она открыла глаза.

Лесничий стоял на балке напротив — как будто всю жизнь там и простоял. Она не слышала шагов. Впрочем, он никогда не шумел: двигался по балкам, как по половицам собственного дома, и даже самые старые доски под ним не скрипели. Его фигура, собранная из прямых, высушенных веток, была неподвижна. На месте лица — гладкая кора с насечками. Не морщинами — именно насечками, ровными, как на мерной линейке. Говорили, что он ведёт учёт — всему: времени, свету, количеству посетителей, количеству подписанных контрактов. Но никто не видел его записей. Может быть, они были у него внутри. Может быть, он сам был записью.

— Добрый вечер.

Голос его был, как всегда, ровным — ни холодным, ни тёплым. Как вода, которая долго стояла в комнате и приняла температуру воздуха.

— Я не сплю, — сказала Жар-Птица.

— Я вижу. — Он чуть склонил голову. — Ты вообще редко спишь в последнее время. Что-то тревожит?

Жар-Птица помолчала. С Лесничим всегда было трудно: он задавал вопросы, ответы на которые ты и сам не хотел знать. Он не давил. Не требовал. Просто спрашивал — и ждал. И в этом ожидании было что-то, от чего ложь казалась бессмысленной, а молчание — красноречивее любого ответа.

— Вчера приходил путник, — сказала она наконец. — Из леса.

— Путники приходят каждый день. — Лесничий переступил с одной ветки-ноги на другую — движение было едва заметным. — Этот чем-то примечателен?

— Он рассказал про баню. На краю леса.

Пауза. Лёгкая, почти невесомая — как снежинка, которая ещё не решила, падать ей или лететь дальше. Жар-Птица заметила, что насечки на лице Лесничего чуть сместились — на волосок, не больше. Но она заметила.

— Баню, — повторил Лесничий. Его голос не изменился — всё тот же ровный, обволакивающий. — Ту самую, где живёт дух-монстр?

— Он не монстр.

Жар-Птица сама удивилась, как быстро это сказала. Слова вырвались раньше, чем она успела подумать. Раньше, чем успела испугаться.

— Откуда ты знаешь?

Она не ответила. Не знала. Она никогда не видела его, только слышала — от путника, который сам его не видел. Но что-то внутри неё уже решило: он не монстр. Монстры не прячутся. Монстры не боятся. А этот — боится. Как она.

Лесничий, кажется, и не ждал ответа. Он смотрел куда-то в сторону, за границу прилавков, где лениво плескалась чёрная вода. Угодные внизу уже начали вечернюю работу — один всё так же протирал прилавок сухой тряпочкой, другой носил подносы, третий скрёб ложкой по дну пустой миски. Бесконечный, идеально отлаженный механизм.

— Знаешь, сколько ты здесь? — спросил он вдруг.

Жар-Птица моргнула.

— Я… не считала.

— А я считал. — Лесничий перевёл на неё взгляд — тёмные глаза-насечки смотрели не моргая. — Ты висишь под этим сводом триста сорок семь лет. Первые полвека я не записывал, но восстановил по косвенным данным.

Внизу что-то упало — баночка Сороконожки, — и звук разлетелся по Рынку, отражаясь от каменных прилавков и затухая где-то в дальних проходах. Она не чувствовала этого срока. Время на Рынке действительно текло иначе — оно не шло, а оседало, как пыль на старых вещах. Но цифра, произнесённая вслух, вдруг стала тяжёлой. Как камень, который положили на грудь — поверх того камня, что уже там был.

— Ты освещаешь Рынок, — продолжал Лесничий. — Ты даёшь свет. Благодаря тебе путники не боятся заходить под своды. Благодаря тебе лавки выглядят уютными. Благодаря тебе Угодные не забывают, что они всё ещё нужны.

Он помолчал. Потом добавил — тише, почти интимно:

— Ты хороший фонарь. Очень хороший. Надёжный. Ровный. Ни разу не погасла за всё время.

Она молчала. Раньше эти слова звучали как похвала. Сейчас — как приговор.

— Я устала, — сказала она. Голос был тихим, чужим. — Я устала светить.

Лесничий чуть склонил голову.

— Я знаю, что счастье — это не всегда свобода. Иногда счастье — это знать своё место. Свою работу. Свою нужность. Ты здесь нужна. Разве этого мало?

Она посмотрела вниз. Угодный без лица всё так же протирал прилавок — сухой тряпочкой, не оставляющей следов.

«Нужна. Как фонарь. Как свет. Не как я».

Она не сказала это вслух. Просто подумала. И от этой мысли стало холодно.

— Там, в лесу, — сказала она. — Дух. В бане. Путник говорил — он прячется. Боится своего жара. Считает себя монстром.

Она замолчала. Потом добавила — тише:

— Ему страшно. Как и мне.

Слова «я тоже» застряли в горле, как дым — острые, колючие, как рыбья кость, которую невозможно проглотить.

— Ты тоже боишься, — закончил Лесничий. — Только ты боишься не жара. Ты боишься дыма.

Она вздрогнула. Откуда он знал про дым? Она никому не показывала его — всегда прятала, всегда загоняла обратно в грудь, всегда сжимала так, что рёбра трещали и камень становился тяжелее. Никто не знал. Даже Сороконожка, которая замечала всё, что можно продать или обменять, не замечала дыма.

— Я вижу, — сказал Лесничий, отвечая на невысказанный вопрос. — Я всё вижу. Ты думаешь, что светишь ровно, но по краям, где твои перья касаются балок, проступает колоть. Совсем чуть-чуть. Незаметно для Угодных. Незаметно для Сороконожки. Но я замечаю. Это моя работа — замечать.

Она молчала. Крылья, сложенные на груди, дрогнули. Ей вдруг стало холодно — не от температуры, а от ощущения, что её увидели насквозь. Что кто-то знает про дым. Про камень. Про то, как она просыпается среди ночи и смотрит в темноту, боясь, что однажды не сможет удержать всё это внутри.

— Послушай, — Лесничий шагнул ближе. Запах сухого дерева стал гуще, плотнее, почти осязаемым. — Ты думаешь, что там, в лесу, тебя кто-то поймёт. Ты думаешь, что этот дух — такой же изгой, как и ты. Может быть, так и есть. Может быть, он не прогонит тебя. Может быть, он даже выслушает.

Он помолчал. Потом добавил — тихо, почти шёпотом:

— А может быть, он испугается. Может быть, он увидит твой дым и решит, что ты опасна. Может быть, он закроет дверь. И ты останешься одна. В лесу. Без света. Без работы. Без нужности. С дымом, который не нужен никому. Даже тебе.

Жар-Птица закрыла глаза. Она представила это: баня, занесённая снегом, дверь, которая не открывается, и она — одна, под ледяным небом, с дымом, вырывающимся из груди. Никому не нужная. Даже себе. Негде спрятаться. Негде светить. Некому быть полезной.

— Зачем тебе этот риск? — продолжал Лесничий. — Ты здесь в безопасности. Ты здесь нужна. Ты здесь светишь. А хочешь… — он сделал паузу, — …хочешь, я сделаю так, что ты никогда больше не будешь бояться себя?

Она открыла глаза.

Лесничий стоял совсем близко — протяни крыло, и коснёшься его веток-плеч. В его руке — откуда она взялась? — был берестяной лист. Контракт. Рядом лежало белое перо — остро заточенное.

— Это не сделка, — сказал он мягко. — Это подарок. Ты просто подписываешь — и всё. Твоя усталость уйдёт. Твои сомнения уйдут. Дым утихнет — не потому что ты его спрячешь, а потому что он станет неважен. Останется только свет. Ровный. Надёжный. Навсегда. Ты больше никогда не захочешь уйти. Это и есть покой.

— Я не хочу быть Угодной, — сказала она.

— А ты и не будешь. — Лесничий покачал головой. — Угодные — это те, кто отдал всё. Ты же просто примешь защиту. Перестанешь бояться. Перестанешь сомневаться. Останешься собой — только без боли.

Она смотрела на контракт. Береста была гладкой, почти тёплой. Буквы, выведенные ровным почерком, складывались в слова, которые обещали покой. Она вдруг подумала: а чьим почерком они написаны? Лесничего? Или это почерк того, кто подписал контракт до неё и теперь протирает прилавок сухой тряпочкой, не помня собственного имени?

— Ты триста сорок семь лет светишь, — сказал Лесничий. — Ты заслужила отдых. Неужели ты хочешь променять это на холодный лес и чужую баню, где тебя, может быть, даже не пустят на порог?

Она молчала. Внизу, под сводом, Угодный продолжал скрести ложкой по дну пустой миски — ритмично, бесконечно. Этот звук вдруг стал невыносимым: как напоминание о том, во что она может превратиться. Или уже превратилась?

— Я подумаю, — сказала она.

Лесничий кивнул. Он не настаивал — он никогда не настаивал. Просто оставил контракт на краю балки, легко поклонился и исчез так же бесшумно, как появился. Только запах сухого дерева ещё несколько минут висел в воздухе — тяжёлый, сладковатый, почти удушливый.

Жар-Птица осталась одна.

Она смотрела на контракт. На белое перо. На чёрную воду за границей Рынка.

Хороший фонарь. Надёжный. Ровный. Ни разу не погасла.

«А что, если я правда могу уйти? — прошептал внутренний голос. — Что, если там, в лесу, меня кто-то ждёт?»

«А что, если нет? — ответил другой. — Что, если он закроет дверь?»

Она взяла перо. Оно было легче, чем она ожидала. Почти невесомое. Кончик остро поблескивал в багровом свете. Она поднесла его к бересте — так близко, что увидела, как чернила на кончике чуть подрагивают в такт её дыханию.

И замерла.

Где-то глубоко внутри, за грудиной, за холодным камнем, который она носила вместо сердца, что-то дрогнуло. Не искра. Пока не искра. Но обещание искры. Как будто камень треснул — не раскололся, а именно треснул, — и в трещину просочилось что-то тёплое. Что-то, что пахло не нагретым металлом и пылью, а хвоей. Ветром. Дымом от костра.

Она отложила перо. Контракт остался лежать на балке.

«Я ещё подумаю», — сказала она себе. И закрыла глаза.

Ночью ей снова приснился лес.

На этот раз она не просто летела над ним — она опустилась ниже, туда, где между стволами вился дымок. Не чёрный, удушливый — белёсый, тёплый, пахнущий берёзовыми листьями и мёдом. Он поднимался из трубы почерневшей бани, что стояла на холме между двух старых берёз. Берёзы были голые, зимние, но от них веяло теплом — как будто они грелись от дыма.

Дверь была приоткрыта.

Она подошла ближе — во сне это было легко, во сне она ничего не боялась. Заглянула внутрь. И увидела его.

Огромный, мохнатый, с жёлтыми глазами-угольями. Он сидел в углу, сжавшись в комок, и смотрел на свои руки — тяжёлые, покрытые шрамами, с когтями, похожими на обугленные щепки. Он не прятался. Просто сидел и смотрел. Как будто ждал кого-то, кто не побоится войти.

Она хотела что-то сказать, но во сне у неё не было голоса. Только дым — чёрный, густой — вырвался из клюва и поплыл к нему, медленно, как вода между прилавками.

Он поднял голову. Посмотрел на дым. Не отшатнулся. Не заслонился лапой. Просто кивнул — коротко, почти незаметно. Как будто сказал: «Я тоже такой».

Она проснулась от того, что её собственные перья светились — не золотом, а чем-то другим. Тёмным. Багровым. Живым.

Контракт всё ещё лежал на балке.

Она не прикоснулась к нему.

ГЛАВА 3. ПОЧТИ

Три дня она не прикасалась к контракту.

Он лежал на краю балки — берестяной лист, придавленный белым пером, чтобы не унесло сквозняком. Сквозняки на Рынке были редкими гостями, но всё же случались — особенно когда открывали дверь в дальней галерее, где торговали сквозняками. Она смотрела на контракт каждый день. Иногда — мельком, как смотрят на вещь, которую боишься взять в руки. Иногда — долго, как будто пыталась прочитать между строк то, чего там не было написано.

«А может, зря? — думала она. — Может, я себе придумала? Услышала слово „баня“ — и размечталась. Как будто меня там ждут. Как будто я кому-то нужна».

Она сжала крылья. Перья скрипнули.

«Сиди и свети. Чего ты выдумала. Триста сорок семь лет сидела — и дальше сиди. Он даже не знает о тебе. Он прячется от всех. С чего ты взяла, что тебя он не прогонит?»

Три дня. Она могла бы решить за минуту. Но она не верила себе.

«Я хочу уйти? Или мне показалось? Я правда хочу — или это просто усталость?»

Она задавала себе этот вопрос снова и снова. Ответ был — да. Но она не верила. Перепроверяла.

На второй день она сказала себе: «Утром решу». Утром — «Вечером решу». Вечером — «Завтра».

На третий день она поняла: она не примет решение. Она слишком давно не верила себе, чтобы принять его вот так, с кондачка.

И тогда она пошла к Затворнику. Не за советом — за тишиной. Рядом с ним было легче думать.

Жар-Птица светила. Днём — ровным золотым светом, от которого прилавки казались уютными, а чёрная вода — почти красивой. Ночью — приглушённым, чтобы Угодные могли отдохнуть. Она делала свою работу. Как сказал Лесничий, она была хорошим фонарём. Надёжным. Ровным. Ни разу не погасла.

Но что-то изменилось.

Первым это заметил Затворник. Он вообще много чего замечал — профессия обязывала. Торговля старыми вещами учит внимательности: каждая трещина на свистульке, каждая царапина на ложке, каждая выцветшая буква на берестяной шкатулке рассказывают историю. Если уметь слушать. Затворник умел. Он провёл среди старых вещей столько времени, что сам стал немного вещью — молчаливой, наблюдательной, хранящей чужие истории.

— Ты сегодня криво светишь, — сказал он, не поднимая головы от своих сокровищ.

Жар-Птица, сидевшая на балке, вздрогнула.

— Я всегда ровно свечу.

— Неправда. — Затворник перевернул свистульку, осмотрел её со всех сторон и отложил в сторону. Свистулька была кривая, с одним крылом толще другого — явно чья-то неумелая работа. Но Затворник держал её бережно, как драгоценность. — У тебя левый край тусклее правого. И ещё — ты моргаешь.

— Птицы не моргают.

— Ты моргаешь. Я вижу. — Он поднял на неё свои выцветшие глаза. — Что случилось?

Жар-Птица хотела ответить «ничего», но слова застряли. Затворник был из тех, с кем врать бессмысленно — не потому что он обидится, а потому что он просто не поверит. Он слишком долго жил среди вещей, которые не умеют врать.

— Лесничий приходил, — сказала она.

— Знаю. Контракт предлагал?

— Да.

— А ты?

— Я не подписала.

Затворник кивнул — медленно, как будто соглашаясь с чем-то, что знал уже давно. Он взял со стола ложку с обломанной ручкой — ту самую, что гладил пальцем, — и подвинул её к краю прилавка. Ближе к ней.

— Это хорошо. Контракт — это для тех, кто уже не верит, что может уйти.

Жар-Птица посмотрела на него. Затворник был старым — не в смысле возраста, а в смысле времени. Казалось, он был здесь всегда.

— Ты всё смотришь на балку, — сказал он. — Раньше просто сидела. А теперь смотришь. Как будто ждёшь, что там что-то появится.

— Может, и жду.

— Вот и дождись. — Он провёл пальцем по обломанной ручке — нежно, как гладят шрам. — Я тут много чего слышу. Старые вещи учат слушать. А ты — старая птица. Может, и тебе пора кого-то послушать. Не меня. Себя.

Она промолчала. Он снова взялся за свистульку.

Внизу Угодный без лица скрёб ложкой по дну пустой миски. Скр-скр-скр. Этот звук преследовал её уже которую ночь. Она вдруг поняла: он скребёт одну и ту же миску. Всегда. Каждый день. И никогда не наскребает.

— Знаешь, что я понял за эти годы? — вдруг сказал Затворник. — Люди приходят сюда за памятью. За «Уютом» и «Тёплым вечером». Они думают, что можно купить то, что потеряли.

А память не продаётся. Её не купишь. Она — вот. — Он постучал пальцем по ложке. — Лежит. Молчит. А ты её носишь. И всё.

Он поднял на неё глаза.

— От тебя пахнет, — сказал он. — Гарью.

Жар-Птица сжала крылья.

— Не той, что в баночках, — добавил он. — Другой. Как после пожара. Настоящей.

Жар-Птица сжала крылья. Откуда он знает? Она никогда не говорила о пожаре. Никому. Даже себе.

— Я не хочу об этом говорить, — сказала она.

— А я и не спрашиваю. — Затворник вернулся к своей ложке.

Он провёл пальцем по обломанной ручке — нежно, как гладят шрам.

— От огня всё, — сказал он. — И свет, и гарь. Гарь — она тоже… оттуда. Не грязь. Просто… что осталось.

На третью ночь она снова спустилась с балки.

Рынок притворялся спящим: светлячки в колбах притушены, Угодные замерли, вода неподвижна. Жар-Птица бесшумно скользнула вниз и опустилась на каменный пол. Холод камня под лапами — настоящий, не рыночный.

Она прошла мимо прилавка Сороконожки. Баночки стояли ровными рядами: «Мамины руки», «Запах ржаного хлеба», «Уют», «Печка. Берёзовые дрова». Она смотрела на этикетки и думала: вот что они покупают. Вот что они ищут. Тепло. Уют. Память о том, чего у них никогда не было.

— Не спится, касатка?

Сороконожка выползла из-под прилавка. Она не спала — она вообще редко спала. Слишком много ног, слишком много масок, слишком много баночек, которые нужно пересчитывать. Она пересчитывала их каждую ночь — не потому что боялась, что украдут, а потому что это её успокаивало. Раз, два, три… сорок. Всё на месте.

— Не сплю, — сказала Жар-Птица.

— Вижу. — Сороконожка подползла ближе. — Ты третью ночь ворочаешься. Ходишь. Я слышу. У меня сорок ног — каждая чувствует движение. И не спорь. Не ворочается она. Как же.

— Я не ворочаюсь. Я думаю.

— Думает она. О чём? О том духе, что ли? Из бани? Ой, да знаю я, знаю. Слухами Рынок кормится, а я здесь, почитай, главная кормилица. Ты с путником говорила, про баню спрашивала, потом Лесничий приходил, и контракт у тебя на балке до сих пор лежит — я же вижу. Я всё вижу. Работа у меня такая — видеть. И слышать. И вообще.

Жар-Птица помолчала.

— Я не знаю, чего я хочу, — сказала она. — Я просто… мне интересно. Не «хочу сбежать», не «хочу спастись». Интересно. Что он за дух такой. Почему он прячется. Почему боится своего жара. Он — как я. Только наоборот. Я прячусь в свете. Он — в темноте. И мне интересно, что будет, если мы встретимся.

Сороконожка долго молчала. Перебирала баночки, не глядя на неё. Одна звякнула особенно громко — она придержала её лапой.

— Знаешь, — сказала она наконец, — я ведь тоже хотела уйти. Давно. Очень давно. Ещё когда ног меньше было. И баночки другие — не с памятью, с вареньем. Крыжовник. Смородина. Малина. Собралась, понимаешь? Всё пересчитала, все сорок банок закрыла — и пошла. Почти до края дошла. И назад.

— Почему? — спросила Жар-Птица.

Сороконожка пожала сорока плечами — зрелище было завораживающее. Каждая нога двигалась в своём ритме, и баночки в них чуть позвякивали.

— А страшно. Холодно там. Тихо. Пусто. Никто не торгуется, никто не спрашивает «а почём у вас „Тёплый вечер“», никто не жалуется, что свет тусклый. И я поняла: я там никому не нужна. А здесь — нужна. Здесь я знаю, кто я. Здесь у меня работа. Здесь мои баночки.

Она посмотрела на Жар-Птицу — сорок масок сменили одна другую, и на каждой что-то дрожало.

— Ты не боишься, — сказала она. — Ты правда не боишься. Тебе интересно. Это другое. Страх — он парализует. А интерес — он тянет вперёд.

Жар-Птица задумалась. Страха и правда не было. Был только этот странный зуд — как будто кто-то дёргал за ниточку где-то глубоко внутри.

«Интерес. Не страх. Интерес».

Она попробовала это слово. Оно было новым. Не «надо». Не «должна».

«Интерес».

Что-то внутри — не камень, а то, что под ним, — шевельнулось. Как будто проснулось.

— Я не знаю, получится ли у меня, — сказала она. — Может, он меня прогонит. Может, я ему не нужна.

— Может, — согласилась Сороконожка. — А может, ты ему нужна больше, чем он сам думает. Такое тоже бывает.

Она вдруг засуетилась, загремела лапами, протягивая Жар-Птице крошечный туесок.

— На, возьми. Держи. Рябина. Просто рябина, поняла? Не «Печка. Берёзовые дрова», не «Запах ржаного хлеба», не «Мамины руки». Рябина кислая, но от простуды помогает. И вообще. Это ты сама должна найти — тепло. Уют. Всё такое. А рябину можно съесть. В дорогу. Пригодится.

Жар-Птица взяла туесок. Он был тёплым — не от ягод, а от лап, которые его держали. Она вдруг заметила то, чего не замечала раньше: одна из сорока масок Сороконожки была не такой, как остальные. Чуть более старой. Чуть более грустной. Она появлялась реже других и почти не двигалась, когда остальные улыбались.

— Ты смотришь, — сказала Сороконожка.

— Прости. Я не хотела…

— Да смотри. Чего там. Всё равно уже. — Она перебрала лапами — движение было нервным, не похожим на её обычную суету. — Знаешь, почему у меня сорок масок?

— Нет.

— Потому что когда-то у меня было сорок лиц. Настоящих. Не масок — лиц. Я была… кем-то другим. Не помню уже. Это было давно. Ещё до Рынка. Я жила в мире, где у всех было по одному лицу, а у меня — сорок. И каждое хотело говорить. Каждое хотело, чтобы его видели. Каждое хотело быть главным.

Она взяла одну из баночек — «Тёплый вечер» — и повертела в лапах.

— И знаешь, что делали люди? Они боялись. Они говорили: «Это неправильно. Так не бывает. Выбери одно». А я не могла. Я не была одним. Я была сорока. И тогда я пришла сюда. К Лесничему. И он сказал: «Я могу помочь. Ты будешь носить маски. И никто не увидит, что под ними». Я согласилась. Я надела первую маску. Потом вторую. Потом все сорок. И стало удобно. Никто не боялся. Никто не говорил «выбери». Только…

Она замолчала. Баночка дрогнула в лапе.

— Только теперь я сама не знаю, какое из лиц — настоящее. Или все. Или ни одно. Маски приросли. И я уже не помню, кто я без них. Торговка памятью. У которой своей памяти не осталось.

Жар-Птица молчала. Она смотрела на сорок масок — и вдруг увидела их по-другому. Не как товар. Не как суету. Как сорок попыток быть собой в мире, который требовал выбрать одну.

— Но ты… — начала она и запнулась. — Та маска, что не улыбается.

Сороконожка замерла. Маски менялись и продолжали улыбаться, но та, старая, осталась неподвижной.

— Это первая, — сказала она тихо. — Её я надела, когда ушёл тот, кого я любила. Он сказал: «Я не могу. Вас слишком много. Я люблю одну, а вас сорок. Я не знаю, кого обнимать». И ушёл. А я надела маску. Чтобы не показывать, что внутри — тоже сорок. И все плачут.

Она вдруг засуетилась, загремела баночками — обычным, привычным движением.

— Ладно, чего я. Ты иди. Лети. У тебя там дух. У тебя там баня. У тебя там… — она запнулась, — …жизнь. Иди. И не вздумай возвращать рябину. Я её специально для тебя собирала. В том году ещё. Думала: вдруг пригодится. И пригодилась же. Я знала. Я всегда знаю, кому что пригодится. Это у меня работа такая — знать.

Жар-Птица шагнула к ней. Ближе, чем обычно подходила к кому-то на Рынке. Ближе, чем позволяла себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.